

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УДК 324+321.32

Концептуализация режимных трансформаций на постсоветском пространстве: некоторые промежуточные итоги

Д. Э. Летняков

Институт философии РАН,
Российская Федерация, 109240, Москва, ул. Гончарная, 12

Для цитирования: *Летняков Д. Э.* Концептуализация режимных трансформаций на постсоветском пространстве: некоторые промежуточные итоги // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. 2020. Т. 13. Вып. 3. С. 374–393.
<https://doi.org/10.21638/spbu06.2020.306>

Автор ставит своей целью проанализировать попытки концептуализации режимных трансформаций на постсоветском пространстве, которые предпринимались за последние тридцать лет. Для удобства все концепции сгруппированы вокруг трех основных подходов. Первый из них рассматривает режимные трансформации в бывшем СССР с точки зрения возможного перехода к демократии (транзитологическая парадигма); второй делает акцент на преемственности между доперестроечным и постсоветским политическими режимами, не видя между ними принципиальной разницы; третий исходит из того, что постсоветский транзит все же состоялся, однако он шел в направлении от одного типа авторитарного правления (однопартийная коммунистическая идеократия) к другому (гибридные режимы или консолидированные автократии). Понимая режимные трансформации как изменение базовых формальных и неформальных правил игры, которые определяют функционирование данной политической системы (от способа принятия ключевых решений и распределения ресурсов до основных каналов рекрутирования в элиту), автор доказывает, что наиболее релевантным для анализа постсоветских политических реалий является третий подход. Его преимущество, среди прочего, состоит в том, что он позволяет достаточно органично вписать изучение постсоветского пространства в более широкое поле сравнительной политологии: анализ постсоветской политики, с одной стороны, может значительно обогатить наши представления о том, как в принципе «работают» авторитарные режимы,

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2020

с другой — эмпирические знания об автократиях за пределами постсоветской Евразии и выстроенные на их основе теории помогут нам лучше понять природу авторитаризмов в ближнем зарубежье.

Ключевые слова: постсоветское пространство, демократия, новый авторитаризм, транзитология, гибридные режимы, режимные трансформации.

Сразу после неожиданно быстрого краха социализма и распада Восточного блока К. Мюллер с сожалением констатировал, что социальные науки «не располагают какой-либо адекватной теорией, подходящей для того, чтобы постигнуть динамику и масштаб происходящих [в посткоммунистических странах] процессов» [1, р. 109]. На сегодняшний день недостатка в теоретических подходах и концепциях, объясняющих природу посткоммунистических трансформаций, как будто нет, однако их адекватность продолжает оставаться предметом активных академических дискуссий. Сказанное в полной мере относится и к теме политических трансформаций на постсоветском пространстве. В научном и, шире, экспертном сообществе нет сколько-нибудь однозначного мнения о том, каким образом следует описывать траекторию режимных трансформаций в бывшем СССР, допустимо ли вообще говорить о сколько-нибудь существенных политических изменениях в регионе после 1991 г.; как правильнее характеризовать и классифицировать нынешние политические режимы на постсоветском пространстве и т. д. Сейчас мы находимся в преддверии очередной круглой даты с момента распада СССР, такого рода «юбилеи» часто вызывают желание оглянуться назад и подвести некоторые итоги. Отсюда цель данной статьи, которая состоит в аналитическом обзоре итогов тридцатилетнего теоретизирования по указанным выше вопросам. Конкретные задачи же можно сформулировать следующим образом:

- провести ревизию концепций, которые описывают характер режимных трансформаций на постсоветском пространстве, для удобства сгруппировав их вокруг трех основных подходов («движение к демократии», «движение к новой форме авторитаризма», «отсутствие всякого движения»);
- критически рассмотреть данные концепции и заключить, какие из них представляются наиболее адекватными для анализа постсоветских политических реалий;
- на основе проведенного анализа наметить наиболее перспективные сюжеты для дальнейших исследований политических процессов на постсоветском пространстве.

Говоря о второй задаче, следует с самого начала определить, что будет пониматься под режимными трансформациями. С. Хэнсон справедливо заметил, что в науке на этот счет нет однозначного мнения, поскольку «политические события, которые одним ученым кажутся радикальной сменой политического строя, другими оцениваются лишь как поверхностные перемены, маскирующие глубинную историческую преемственность, и наоборот...» [2, с. 108]. Например, означала ли смерть Сталина конец советского тоталитарного режима и переход системы в посттоталитарную фазу своего развития или же историю тоталитаризма в СССР следует продлевать вплоть до перестройки? Такие авторы, как Х. Арендт и В. Заслав-

ский, давали на этот вопрос принципиально разные ответы [3]. В этой статье при определении режимных трансформаций автор будет исходить из подхода, которого придерживаются Ф. Шмиттер и Г. О’Доннел, Б. Геддес и ряд других авторитетных исследователей. Он состоит в том, что, наблюдая за политическим процессом, мы должны ориентироваться на базовые формальные и неформальные правила игры, которые определяют функционирование данного режима (от способа принятия ключевых решений и распределения ресурсов в политической системе до основных каналов рекрутирования в элиту) [4, р. 314]. В случае, если эти правила меняются, перед нами ситуация режимной трансформации. Смерть Сталина как раз можно рассматривать в качестве такого поворотного момента, потому что после 1953 г. власти больше не прибегали к массовым репрессиям, партийная элита была выведена из-под контроля органов госбезопасности, начала складываться номенклатура и система «коллективного руководства» страной. К режимной трансформации можно отнести ситуацию, когда вместо гражданской бюрократии определяющее влияние на процесс принятия политических решений в стране начинают оказывать военные или духовенство (как случилось в Иране после революции 1979 г.). Отмена/введение альтернативных выборов может означать переход режима в какое-то иное качество. Исходя из этого степень «адекватности» рассматриваемых подходов будет измеряться их способностью наиболее точно зафиксировать, описать и объяснить такого рода изменения (или их отсутствие) на постсоветском пространстве.

Демократический транзит: от оптимизма 1990-х к пессимизму 2000-х годов

Как известно, крушение Советского Союза и его режимов-сателлитов в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) породило среди значительной части исследователей представление о скором установлении демократии на территории бывшего Восточного блока. Один из патриархов американской политологии Д. Растоу в статье 1990 г. с примечательным названием «Демократия: глобальная революция?» едва ли не с упоением описывал, как «волна демократических перемен охватывает мир» [5, р. 75]. Тогда казалось, что конечное торжество демократии неизбежно хотя бы потому, что «не существует современных Наполеонов, Гитлеров или Сталиных, которые могли бы бросить вызов демократическому движению под знаменем каких-либо альтернативных принципов» [5, р. 91]. О «полном исчерпании» любых «жизнеспособных альтернатив» либеральной демократии в мире примерно в это же время объявляет Ф. Фукуяма [6, р. 3].

Большинство из тех, кто теоретизировал тогда по поводу режимных трансформаций в посткоммунистическом мире, работали в парадигме демократического транзита. Последняя, напомним, возникла в 1970-е годы для описания политических изменений, происходивших в Южной Европе и Латинской Америке; к основоположникам этого направления можно отнести как раз Д. Растоу (в 1970 г. выходит его влиятельная статья «Переход к демократии: попытка динамической модели¹»), а также Г. О’Доннелла и Ф. Шмиттера². Транзитологический подход исходил из су-

¹ См. русский перевод этой работы: Растоу, Д. (1996), Переходы к демократии: попытка динамической модели, *Полис*, № 5, с. 5–15.

² В частности, классикой транзитологии стала их совместная книга [7].

ществования «глобальной демократической волны», накрывшей мир с середины 1970-х годов [8]. Оптимисты (коих было тогда немало) проводили подсчеты количества демократий в мире, показывавшие неуклонный рост свободных режимов по сравнению с предыдущими десятилетиями [9, с. 6], и предполагали, что посткоммунистические страны вряд ли продемонстрируют какую-то специфику в рамках этого общемирового тренда — скорее всего, они будут (пусть и с разной скоростью и степенью успешности) двигаться от плановой экономики к рынку, от советской автократии к демократии, от патернализма к активизации гражданского общества, от власти неэффективной и коррумпированной номенклатуры к системе good governance. Проблемы и неудачи на этом пути часто рассматривались как временные, как проявление трудностей роста — показательны, например, рассуждения отечественного политолога Б. Макаренко о «детской болезни консолидации демократии» в постсоветских странах [10].

Но с начала 2000-х годов появляется все больше публикаций, в которых транзитологическая парадигма подвергается жесткой критике [11–14]. Разумеется, статьи, написанные с позиции транзитологии (пусть и несколько скорректированной), продолжают выходить [15; 16]; идея «волн демократизации» и сама транзитологическая терминология (вроде *third-wave regimes*) так или иначе используются в академии; окончательно не умирают и мечты о демократизации постсоветского пространства (кто-то, например, видит в «цветных революциях» в Грузии, Киргизии и на Украине проявление «региональных демократических тенденций» [17, р. 1321]), однако в XXI в. транзитология явно перестает быть главной исследовательской рамкой, применяемой для анализа политических изменений в бывшем СССР.

Суммируя выдвигаемые к транзитологии претензии, можно сказать, что главная из них обращена к «демократической телеологии» этого подхода (Т. Карозерс), т. е. к представлению о заданности движения стран в одном направлении — к демократии и рынку [12, с. 46]. Как сформулировал эту мысль Б. Капустин, «для “транзитологов” политика — не соперничество сил с открытым финалом, а реализация идеи, или правильной теории» [13, с. 12]. Транзитологи исходили из того, что все посткоммунистические общества являются «переходными», конечная же цель этого перехода проста — начать соответствовать «стандартам Евросоюза» [13, с. 12].

При этом простой взгляд на международные рейтинги демократии обнаруживает, что даже к минимальным политическим стандартам ЕС за прошедшие десятилетия не подошло ни одно постсоветское государство (мы оставляем вне рассмотрения страны Балтии, которые традиционно не включаются в понятие «постсоветское пространство»). Рейтинг “Freedom House” не находит на территории бывшего СССР ни одного свободного государства, только «несвободные» или «частично свободные» (к последним относятся Грузия, Армения, Киргизия, Молдова, Украина) [18]. Похожую картину дает и другой авторитетный рейтинг от журнала “The Economist” — ни одной полноценной (full) или даже «несовершенной» (flawed) демократии, сплошные гибридные и консолидированные авторитарные режимы (вплотную к «несовершенной демократии» в 2018 г. подходила Молдова с рейтингом 5,85 при необходимых 6 баллах). Более того, согласно данному рейтингу, многие постсоветские страны демонстрируют устойчивый регресс — в частности, у Украины и Молдовы падают показатели с 2008 г. (тогда они находились

в категории «несовершенных демократий»), у Азербайджана — с 2006 г. (оставаясь в пределах авторитарного режима, он ухудшил свои баллы с 3,31 до 2,65), Россия же и вовсе с 2006 г. проделала путь от гибридного режима, близкого к «несовершенной демократии», до авторитаризма (падение с 5,02 до 2,94 балла) [19].

Другими словами, то, что вначале казалось проявлением «детской болезни» и временными трудностями, обернулось затяжной тенденцией. Многие постсоветские страны в действительности не пытались даже начать движение к демократии (Азербайджан, Центральная Азия за исключением Киргизии), в других демократизация оказалась достаточно быстро свернутой (Россия, Беларусь), третьи много лет являют собой пример «бесплодного плюрализма» (Т. Карозерс), сочетая, как Молдова, конкурентные выборы с ситуацией «захвата государства» (state capture) богатейшим в стране человеком. На сегодняшний день нигде на постсоветском пространстве не осуществлен полноценный переход к демократическим правилам игры, подразумевающим как минимум регулярную смену элит в ходе свободных и честных выборов, соблюдение политических и гражданских прав, разделение властей и верховенство закона³.

Более того, даже в отношении ЦВЕ, которая традиционно противопоставлялась остальной части посткоммунистического мира как регион, в целом успешно завершивший свой демократический транзит, сегодня все чаще звучит определенный скепсис. Исследователи пишут о появлении в ЦВЕ новых форм «нелиберальных демократий» [21, р. 770–779]. В отношении Венгрии применяются и более жесткие формулировки: Б. Мадьяр описывает превращение этой страны при В. Орбане в «мафиозное государство», в котором благодаря централизованной системе рейдерства происходит одновременная концентрация политической власти и богатства в руках правящей группировки [22]. Кстати говоря, растет ощущение и глобального демократического отката. Л. Даймонд обращает внимание на то, что с 2006 г. в мире снижается средний уровень свободы (на момент написания статьи показатель сдвинулся с 3,22 до 3,30 по шкале “Freedom House”, где 1 является точкой наивысшей свободы), хотя ранее с 1974 г. этот показатель постоянно рос; кроме того, повсеместно уменьшаются степень открытости власти и уровень гражданских свобод, и даже демократии, долгое время считавшиеся стабильными, демонстрируют весьма тревожные тенденции [23, р. 141–142]. Не удивительно, что вместо тезиса о «конце истории» сегодня в моде рассуждения о «глобальном соревновании между демократическими и авторитарными правительствами», которое будет определять всю международную систему в XXI в. [24]. Главными промоутерами авторитаризма в мире часто называются Китай и Россия, которые вместе

³ В рамках данной статьи автор не имеет возможности сколько-нибудь глубоко затрагивать масштабную академическую дискуссию о том, что следует понимать под демократией. Оговоримся только, что мы ориентируемся на «минималистское» понимание демократии, при котором последняя рассматривается как система политической конкуренции элит за голоса избирателей, создающая возможность для общества влиять на власть [20, с. 667]. Такой «процедурный» подход многим его критикам кажется чересчур элитистским, обедняющим содержание демократии. Представляется, однако, что для значительной части бывшего СССР, где так и не был институционализирован процесс циркуляции элит с помощью выборов, недостижимым идеалом пока что является даже такая, «шумпeteriaнская» демократия, не говоря уже о перспективах регулярного вовлечения рядового гражданина в процесс обсуждения и принятия политических решений, на чем настаивают сторонники партиципаторной, делиберативной и ряда других концепций демократии.

противостоят идеям «универсальной демократии и прав человека», способствуя сохранению авторитарных режимов в Евразии [17], а также на других континентах. Понятно, что в такой ситуации прежний транзитологический оптимизм кажется попросту неуместным.

В защиту транзитологии надо сказать, что ее критика, во многом справедливая и убедительная, в то же время часто основывается на слишком упрощенном представлении о логике транзита. В целом ряде транзитологических работ с самого начала присутствовал здравый скепсис по поводу политических перспектив постсоветских стран — в цитированной выше статье Д. Растоу от 1990 г. содержатся достаточно пространственные рассуждения о том, что путь к демократии посткоммунистических обществ не может быть прямым и беспроблемным [5, p.82–86]. Хрестоматийная работа Г. О’Доннелла и Ф. Шмиттера и вовсе начинается следующими характерными словами: «Настоящая книга посвящена транзитам от конкретных авторитарных режимов к *чему-то неизвестному* (transitions from certain authoritarian regimes toward an uncertain ‘something else’). Это “что-то” может быть восстановлением политической демократии или *реставрацией новой и, возможно, более жесткой формы авторитарного правления* (курсив наш. — Д. Л.)» [7, p.3]. Соответственно, об окончании транзита (и смене режима), с точки зрения О’Доннелла и Шмиттера, мы можем говорить тогда, когда режим входит в *новое состояние равновесия* — как отмечалось в начале статьи, под этим понимается ситуация окончательного установления и закрепления новых правил игры в политической системе, которые не обязательно могут быть демократическими [7, p.65].

Иллюстрацией того, что транзитология допускает довольно большую вариативность в процессе режимных трансформаций, может служить концепция М. Макфола — вместо того чтобы, подобно многим своим коллегам, рассматривать посткоммунистические трансформации как часть «третьей волны» *демократизации*, американский политолог предлагает выделить их в особую «четвертую волну», в ходе которой политические системы осуществляют переход «к демократии и диктатуре». Ведь довольно странно, замечает Макфол, говорить о «демократизации» в ситуации, когда 20 из 28 посткоммунистических стран остаются «различными вариантами диктатур или неконсолидированных переходных режимов» [25, p.213].

Но даже с этой важной оговоркой нельзя не признать некоторую односторонность самой транзитологической оптики, присущие ей универсализм и идеологичность, которые проявляются в склонности так или иначе соотносить все политические процессы в «переходных» обществах с перспективой (пусть даже весьма отдаленной) их транзита к демократии. Лучшее доказательство этому — сам факт априорного включения постсоветских стран в начале 1990-х годов в «третью волну» глобальной демократизации [26, p.300]. Такое очевидное расхождение между теорией и реальностью и стало главной причиной разочарования в транзитологической парадигме со стороны значительной части исследователей.

Развернутый ответ на вопрос о том, почему режимные трансформации в бывшем СССР не привели к строительству успешных демократий, выходит за рамки данного аналитического обзора. Поэтому автор должен, с одной стороны, ограничиться лишь выражением солидарности с теми коллегами, которые полагают, что специфика постсоветских политических реалий сформирована прежде всего политэкономическими факторами [26], а именно: периферийным характером пост-

советских государств, слабостью среднего класса, отсутствием организованных социальных сил, которые могли бы выступить в публичном поле со своей повесткой, феноменом «власти-собственности», рентным характером многих постсоветских экономик и т. д. С другой стороны, невозможно полностью игнорировать и то, что обычно называют «историческим наследием» (path dependence) [27]. В этом смысле параллели между латиноамериканским и постсоветским политическим развитием, которые, кстати, любят проводить транзитологи, не всегда кажутся удачными. В странах Латинской Америки в начальной фазе политического транзита, как правило, уже существовали институты рыночной экономики, а также определенная инфраструктура гражданского общества и элементы демократии — от многопартийности (в Уругвае, Чили, Мексике) до независимых профсоюзов, органов местного самоуправления, гражданских организаций и социальных движений. Поэтому латиноамериканские диктатуры трудно сравнивать с советским режимом, где отсутствовал институт частной собственности, какие-либо структуры гражданского общества, а у населения вовсе не было навыков самостоятельных коллективных действий. Кроме того, многие страны бывшего СССР не имели опыта независимой государственности и должны были после 1991 г. одновременно заниматься государство- и нациестроительством. В такой ситуации вряд ли стоит удивляться провалу демократического вектора постсоветских режимных трансформаций.

Но коль скоро политическое развитие постсоветского пространства не вписывается в логику доминировавших ранее транзитологических схем, то как его тогда описывать? Первый вариант, который напрашивается, — сказать, что никакого движения вовсе не было, второй — что транзит изначально пошел в какую-то иную сторону. Рассмотрим поочередно эти две концептуальные альтернативы.

Никакого перехода

Целый ряд авторов полагают, что события, связанные с кризисом и распадом советской системы, не повлекли за собой становления какой-то принципиально иной политической реальности, следовательно, говорить о транзите применительно к постсоветским обществам вообще не представляется возможным. Так, Г. Дерлугьян доказывает, что после 1991 г. мы являемся свидетелями не возникновения новой социальности, а всего лишь «цикла вырождения» старой советской системы. Сам он предлагает использовать в данном случае термин «инволюция», понимая под ним «процесс, ведущий к усыханию, сегментации и ослаблению жизнедеятельности исторической системы вместо реального изменения ее организации» [28, с. 24]. «Банкротство» советской системы привело к ее распаду и разделу между «бюрократическими корпорациями» по границам союзных республик, в ходе этого процесса «номенклатурные клики» оставили ненужную им теперь коммунистическую идеологию, заодно присвоив «риторику и символы тех, кто бросал им вызов» (имеется в виду демократическая и националистическая оппозиция), а также инкорпорировав некоторых из оппозиционеров в свой состав. Таким образом, постсоветские государства представляют собой «прежний СССР, лишь меньший по размерам и худший [по качеству]», — они стоят на тех же институциональных опорах (администрация президента как аналог советского ЦК, «квазиполитбюро из доверенных царедворцев», спецслужбы, выполняющие привычную роль опоры

режима, и т. д.); используют ту же модель управления, основанную на «запутанной системе бюрократических сдержек и противовесов»; в случае России мы видим еще и достаточно быстрое (с конца 1993 г.) обращение правящей элиты к «традиционным имперским идеологии и стратегии» [28, с. 24–25].

Аналогичным образом, с точки зрения Л. Гудкова, «в 1991 г. рухнул только внешний, имперский контур организации тоталитарной власти. Однако крах системы не означал ликвидации самих институтов» [29, с. 16]. Его аргументация весьма сходна с той, что использует Дерлугьян: после распада СССР не стало советской плановой экономики, но во многих постсоветских странах сохраняется распределительная экономическая модель, тяготеющая к централизации ресурсов; нет прежнего КГБ, однако полиция и спецслужбы остаются инструментами в руках правящей бюрократии, а суды — частью силовой корпорации; нет формальной цензуры, но существует система государственной пропаганды и плотного контроля над медиа; кроме того, воспроизводится прежний «номенклатурный принцип организации власти» с ее закрытостью от общества и патрон-клиентскими отношениями. Иначе говоря, каркас посттоталитарной политической системы оказался практически нетронутым — во всяком случае, на месте остались те его элементы, которые отвечают за контроль над обществом и удержание власти.

Своеобразной разновидностью рассматриваемого подхода может служить концепция «патрональной политики» Г. Хейла [30]. Режимы, существующие на постсоветском пространстве, американский исследователь предлагает характеризовать как «патрональные», поскольку в них политический процесс определяется не столько формальными процедурами и институтами, сколько неформальными практиками, и прежде всего существованием внутри элиты разветвленной сети патрон-клиентских отношений. Патрональные практики имеют глубокие исторические корни, уходящие еще в досоветский период, вплоть до краха СССР они воспроизводились в рамках номенклатуры, а с 1991 г. в модифицированной форме существуют в новых политиях — через систему патрональных группировок по-прежнему происходит распределение экономических активов, бюджетных потоков и других ресурсов, взаимодействие патрональных сетей между собой во многом определяет политическую жизнь, назначение людей на административные позиции в гражданской и военной бюрократии и т. д.⁴

В этом смысле основное различие между постсоветскими странами состоит в устройстве системы патронажа — выстроена ли она вокруг одной фигуры («патрональный президентализм») или же мы имеем дело с рядом «соперничающих патрональных пирамид» (случай Украины, где эти «пирамиды» замкнуты на нескольких ключевых олигархах, или, например, Киргизии). По Хейлу, «цветные революции» и другие попытки реформирования постсоветских политических систем стоит рассматривать не в контексте «движения к демократии» (или, наоборот, отката от нее), а прежде всего как ситуации перегруппировки существующих

⁴ Иллюстрацией этой идеи применительно к России может служить серия экспертных докладов холдинга «Минченко Консалтинг» под названием «Политбюро 2.0», авторы которых как раз сосредоточены на рассмотрении «конфигурации элитных сетей вокруг президента». В этой модели каждый из тех, кто входит в «ближний круг» В. Путина (С. Чemezov, И. Сечин, А. Ротенберг и пр.), имеет свою сферу влияния, а также собственный пул лояльных себе губернаторов, руководителей министерств, крупных государственных кампаний и т. д. См.: http://www.minchenko.ru/netcat_files/userfiles/2/Dokumenty/Yubileyny_doklad_22.08.17.pdf (дата обращения: 15.09.2019).

патрон-клиентских сетей вследствие изменения внутриэлитного баланса сил, ослабления лояльности элит к уходящему лидеру, неприятия фигуры предложенного им преемника и т. д. Таким образом, на постсоветском пространстве мы имеем дело не с режимной *трансформацией*, а с режимной *динамикой*, происходящей «внутри режимов одного типа» [30, р. 8], поскольку сама природа патрональной системы и базовые правила игры внутри нее каждый раз остаются неизменными.

Близка к подобной трактовке постсоветских реалий и концепция неопатримониализма. Сам этот феномен предполагает сочетание институтов современного государства (бюрократический аппарат, суды, правоохранительная система и т. д.), а также рационально-легальных оснований господства с широким распространением в обществе различных неформальных практик, в том числе с «приватизацией» государства элитными группами, клановостью, трайбализмом, персонализмом и т. д. [31–34]. Существование неопатримониальных практик, глубоко традиционных для рассматриваемого региона, так или иначе объединяет все постсоветские государства, притом что в некоторых из них сложилась более плюралистичная структура политического поля, имеются элементы соревновательной политики, а где-то, напротив, установились жесткие персоналистские режимы. А. Фисун, например, говорит о «бюрократическом», «олигархическом» и «султанистском» вариантах неопатримониализма в зависимости от того, где по преимуществу концентрируется власть — в руках бюрократии, крупных бизнес-игроков или лидеров с пожизненными и почти неограниченными полномочиями [32]. Таким образом, сторонники концепции неопатримониализма, как и Г. Хейл, предлагают отказаться от нормативного измерения при ранжировании постсоветских режимов (т. е. от маркировки тех или иных стран как более или менее демократичных / «прогрессивных» и т. д.), поскольку вне зависимости от степени открытости режима все государства бывшего СССР объединяют отсутствие верховенства права и эффективного контроля за властью, отчуждение элит от общества, их рентоориентированный характер, высокий уровень коррупции и доминирование неформальных практик управления.

Надо заметить, что существование обширной неформальной сферы отношений (*informality*), которая формирует особый «социально-политический, социально-экономический и социокультурный феномен», пронизывающий все общество, многими исследователями рассматривается как специфическая черта постсоветских и, шире, постсоциалистических стран [35, р. 191; 36]. Как правило, эта неформальная сфера видится прямым наследием коммунистической эпохи. Причем, как демонстрирует пример Грузии, неформальные практики и правила игры оказываются весьма устойчивыми даже там, где в постсоветские годы были проведены успешные институциональные реформы [37].

Рассмотренные концепции во многих аспектах кажутся весьма убедительными — в самом деле, для исследователя постсоветской политики было бы контрпродуктивно игнорировать факт существования неопатримониальных практик или «патронажных пирамид» внутри политического класса. Хейл прав, когда доказывает невозможность некритического применения западных концептов вроде «партийной системы», «выборов», «политического участия» к киргизской, молдавской или российской политике, потому что сам институт партий в Молдове и России работает не так, как в Германии или Бельгии; на совершенно иных основаниях, неже-

ли в западных демократиях, может строиться участие в политике жителей Киргизии. И все-таки сам по себе подход, склонный делать особый акцент на преемственности между постсоветскими и предшествующими им политическими системами, на мой взгляд, уязвим для критики.

Конечно, всегда существует соблазн прочертить единую линию между разными эпохами и обнаружить в новой политической системе хорошо узнаваемые черты старой — подобно тому, как Н. Бердяев когда-то доказывал, что «истоки коммунизма» следует искать в русской политической традиции и вековой народной психологии [38]. Однако, делая такой ход, мы рискуем оказаться в ловушке редукционизма, сводящего сложное явление к какой-то одной стороне, что неоправданно упрощает его суть. Как Советский Союз не был простой реинкарнацией исторической России, так и режимы, функционирующие в постсоветской Евразии, сильно отличаются по своей природе от того, что существовал в СССР. Последний представлял собой однопартийную диктатуру, стремившуюся контролировать все стороны жизни общества. Как у него это получалось после 1953 г. — вопрос отдельный, тем не менее до самого конца это был режим, сохранивший многие свои тоталитарные черты, в том числе всеобъемлющую идеологию, которую должны были разделять все граждане внутри страны и которая активно продвигалась вовне в качестве альтернативы капитализму. Как и все (пост)тоталитарные системы, советский режим строился на политизации общества, на поощрении широкого, но при этом контролируемого политического участия людей через массовые организации (42 млн членов комсомола на пике его численности, 19 млн членов КПСС, пионерия и т. д.). Постсоветские режимы строятся на совершенно иных основаниях — их опорой выступает не сросшаяся с государством партия, легитимирующая свою власть через апелляцию к «единственно верному» учению, а бюрократия, объединенная системой патрон-клиентских отношений. Главный ресурс легитимности постсоветских элит — выборность (пусть даже номинальная) ключевых фигур в политической системе. Нынешние режимы безыдеологичны, а потому не испытывают никакого желания преобразовывать общество в соответствии с некоей идеальной моделью (у них вообще большие проблемы с «образом будущего»); наконец, вместо принудительной политической мобилизации они опираются в значительной степени на деполитизацию населения и низкую гражданскую активность.

Иными словами, несмотря на сохранение после 1991 г. некоторых прежних институтов и практик управления (а зачастую и тех же лидеров у власти), в постсоветских государствах существенно модифицировались правила игры внутри политической системы и инструменты удержания власти в руках элит, изменились ключевые ресурсы легитимности правящего класса, а в ряде случаев и констелляция самих элитных групп. Приведем такой пример: в постсоветском Узбекистане сохраняется клановая структура власти, традиционные патрон-клиентские отношения, но если до 1991 г. эти неформальные практики были вписаны в номенклатурную систему, функционировали через местную коммунистическую партию, то после распада СССР, по мере консолидации власти президента И. Каримова, они оказались интегрированы в режим персоналистского авторитаризма [39, р. 61–65]. Причем если ранее силовые структуры в республике стояли *над* соперничающими кланами, поскольку в армии и КГБ традиционно доминировали русские, то теперь силовики оказались полностью подчинены президенту и людям из его самарканд-

ского клана. Кроме того, к началу 2000-х годов в руках президентской семьи оказался контроль за наиболее прибыльными отраслями узбекской экономики (золотодобыча, нефть, телекоммуникации), что также обнаруживает принципиальную разницу с советским периодом, так как на смену номенклатурному принципу *распределения ресурсов* пришел институт «власти-собственности», который предполагает параллельную концентрацию политической власти и *персонального богатства* элитных групп.

Все описанное и означает переход системы в некое новое равновесие, которое можно считать критерием состоявшейся режимной трансформации. Где-то это равновесие привело к установлению султанистского режима с культом личности правителя (Туркменистан), где-то мы видим возникновение режимов с династийной властью (Азербайджан, по этому же пути, вполне вероятно, может пойти и Таджикистан), где-то — персоналистских авторитаризмов (Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан), где-то — более открытых политий, которые К. Рогов предлагает называть «конкурентными олигархиями» (Молдова, Украина, Киргизия, Армения и Грузия) [40, с. 35]. Но если трансформация состоялась и ее вектор не соответствовал движению к демократии, то нам остается обратиться к концепциям, которые описывают политическое развитие бывшего СССР как переход от одного типа авторитаризма (советского) к другому (постсоветскому).

От коммунистической диктатуры к новым автократиям

В свое время Т. Карозерс сформулировал известный тезис о «серой зоне», в которой находится большинство посткоммунистических стран: они, с одной стороны, не являются классическими диктатурами, а с другой — не демонстрируют и заметного прогресса в деле становления демократии [12, с. 48–49]. По мере нарастания скепсиса в отношении транзитологического подхода исследователи все чаще исходили из того, что политические системы из «серой зоны» не стоит рассматривать как «переходные», поскольку мы имеем дело не с промежуточной станцией на пути от коммунистической диктатуры к «открытому обществу», но скорее с некоторым *альтернативным* направлением движения.

Политическую реальность «серой зоны» порой обозначают как «делегативную», «дефектную», «нелиберальную», «имитационную» и прочие варианты «демократии с прилагательными». Проблема, однако, состоит в том, что такая терминология вольно или невольно продолжает транзитологическую логику. В частности, дезориентирующим здесь является само слово «демократия», которое указывает на то, что демократический транзит как будто состоялся и можно надеяться, что со временем несовершенства режима исправятся, демократия из «нелиберальной» станет либеральной, из «дефектной» — полноценной и т. д. Хотя в действительности «демократии с прилагательными», как правило, не отвечают самым минимальным демократическим критериям.

Поэтому более продуктивными для анализа представляются концепции, которые стараются вовсе уйти от слова «демократия» при описании постсоветских политических режимов, прямо предлагая рассматривать последние как пример *новой формы авторитаризма*, пришедшей на смену той, что существовала до 1991 г. Скажем, С. Левитски и Л. Вэй используют термин «конкурентный / соревновательный

авторитаризм». Под это понятие подходят режимы (не только постсоветские), сочетающие в себе «демократические правила с авторитарными методами управления» [41, р. 59]. Названные авторы специально оговариваются, что при конкурентном авторитаризме инкубенты нарушают демократические процедуры «так часто и до такой степени», а правила игры для власти и оппозиции настолько неравные, что стоит вести речь не о дефектной форме демократии, а об ослабленной (*diminished*) форме авторитаризма. Вместе с тем, в отличие от классических авторитаризмов (абсолютных монархий; однопартийных, персоналистских и военных диктатур), здесь существует многопартийность, выборы проводятся регулярно, и они не сведены к чистому ритуалу, поскольку инкубентам не всегда удается на 100% манипулировать ими. Сохраняется некоторое пространство свободы в медиа, равно как и возможность проведения кампаний общественного давления на власть, а оппозиции иногда удается добиться каких-то локальных успехов на местных или парламентских выборах.

В свою очередь, А. Шедлер с соавторами предпочитают термин «электоральный авторитаризм», позволяющий сделать акцент на процедурном аспекте новых автократий. Концепция электорального авторитаризма, объясняет Шедлер, «всерьез относится и к авторитарной составляющей этих режимов, и к электоральным процедурам, которые они применяют на практике» [42, р. 5]. Кто-то использует в аналогичных случаях понятия вроде «полуавторитаризма» [43], «демократуры» [44], «гибридного режима» [45] и т.д. В любом случае общим для всех авторов является убеждение в том, что перед нами некоторая модифицированная версия авторитаризма, которая после 1991 г. стала, по замечанию Дж. Броунли, наиболее «типичной формой недемократического правления» в мире [46, р. 515].

Очевидно, что сосуществование демократических процедур и авторитарных методов является главным источником нестабильности для подобных режимов — у инкубентов присутствует страх потерять власть, поэтому они вынуждены все время маневрировать, по возможности избегая как излишней либерализации (важно не «заиграться» в демократию), так и жестких репрессий, которые слишком «затратны» в такой системе. Тем не менее гибридные режимы достаточно устойчивы, хотя, конечно, всегда есть вероятность их эволюции в сторону как демократии (через «опрокидывающие выборы»), так и «закрытых» автократий.

Критика использования в политических науках понятия «гибридный режим», а также различных «авторитаризмов с прилагательными» обычно строится на том, что отдельные примеры имитации авторитарными режимами демократических институтов и практик, вплоть до формального включения оппозиции в политический процесс, встречались в истории и раньше; и вообще одно из классических определений авторитаризма, принадлежащее Х. Линцу, гласит, что авторитаризм есть ограниченный политический плюрализм. Следовательно, концепции вроде конкурентного или электорального авторитаризма только плодят терминологическую путаницу и безосновательно «умножают сущности», между тем авторитаризм в любом случае остается авторитаризмом [47, р. 124–125]. Однако с такой позицией вряд ли можно согласиться. Гибридные режимы все-таки являются достаточно своеобразным подвидом авторитаризма — тот же Линц отмечал, что в классических авторитарных системах оппозиция чаще всего действует «в отсутствие институциональных каналов для участия», а потому ей приходится использовать

для своих целей неполитические организации вроде религиозных или профессиональных [48], тогда как соревновательный авторитаризм, напротив, *не представим* без институционализации оппозиции. Таким образом, новые автократии в силу самой своей амбивалентной природы менее репрессивны и более открыты для политической конкуренции, следовательно, если в качестве двух противоположных полюсов обозначить «чистую» демократию и «чистый» авторитаризм, то режимы конкурентного / электорального авторитаризма будут располагаться примерно посередине между этими крайностями [49, с. 122].

Распространение новых автократий связано главным образом с тем, что в современном мире фактически не осталось ресурсов для легитимации власти как внутри страны, так и на международной арене, альтернативных демократическим. Одновременно с этим в мире, ставшем «глобальной деревней» благодаря международным информационным потокам, автократам все сложнее притворяться демократами, приходится ими хотя бы отчасти и быть. Все это делает большинство современных авторитаризмов гораздо более «вегетарианскими», чем их предшественники (хотя отдельные примеры соревновательного авторитаризма существовали на протяжении всего XX в.). Если же говорить конкретно о бывшем СССР, то Л. Вэй добавляет сюда еще такой важный фактор, как изначальная слабость постсоветских режимов, у которых на старте процесса государственностроительства зачастую просто не было необходимых ресурсов для консолидации элит, установления контроля за экономикой и пр. Соответственно, инкумбентам приходилось мириться с существованием оппонентов, поскольку издержки от их подавления оказывались слишком высоки. В результате во многих постсоветских странах сначала сформировались относительно открытые и плюралистичные политические системы. Вэй называет такую ситуацию «плюрализмом по умолчанию» (pluralism by default) [50].

В таком ракурсе новые независимые государства на постсоветском пространстве правильнее рассматривать не как «становящиеся» (emerging) демократии, а как «становящиеся» автократии, значительной части которых со временем удалось окрепнуть и консолидироваться [51]. Те проявления политической свободы и соревновательной политики, которые мы видели в начале 1990-х годов, были связаны не с общественным подъемом перестройки или пробуждением гражданского общества, как часто считается, а всего лишь с невозможностью для инкумбентов контролировать ситуацию, с общей слабостью государственной инфраструктуры. Достаточно вспомнить, как в ельцинской России федеральному центру не подчинялись целые регионы, государство элементарно не могло собирать налоги и устанавливать единые правовые нормы. Соответственно, рост цен на нефть в 2000-е годы, успешное строительство «вертикали власти», формирование доминирующей партии, дальнейшее усиление института президентства, увеличение присутствия государства в экономике, подчинение СМИ и прочие меры позволили российскому режиму уже в правление В. Путина эволюционировать от слабого авторитаризма («плюрализма по умолчанию») к более консолидированной его форме.

Примерно в этой же логике рассуждает и отечественный политолог В. Гельман, который полагает, что в России система электорального авторитаризма выстраивалась с 1991 г., поэтому популярное представление об отходе от демократии в 2000-е годы является в корне неверным. Просто с приходом к власти В. Путина эта система

была доведена до своего завершения. Важное терминологическое отличие, однако, состоит в том, что для Гельмана понятия «соревновательный» и «электоральный авторитаризм» являются синонимами — их отличают от демократии «изначально несправедливые “правила игры” [в ходе выборов], призванные обеспечить победу инкубентов независимо от предпочтений избирателей» [52, с. 66]. В свою очередь, Левитски и Вэй видят в электоральном авторитаризме более жесткую форму авторитарных режимов, где выборы являются простым ритуалом с заранее определенным исходом (примером такого режима у них выступает Узбекистан или Казахстан).

Так или иначе, распространение новых автократий привело к тому, что многие институты, долгое время считавшиеся важнейшими элементами демократии, оказались сегодня апроприированы авторитаризмом. В первую очередь это касается института альтернативных выборов, который стал для авторитарных инкубентов базовым механизмом легитимации власти и стабилизации собственных режимов [53, р. 747]. Логично, что это, в свою очередь, заставило политологов шире посмотреть и на природу авторитарного правления, которое теперь не ассоциируется исключительно с грубой репрессивной политикой. Репертуар недемократических практик по сохранению власти оказался гораздо более широким, чем представлялось еще несколько десятилетий назад.

Заключение

По итогам проведенного аналитического обзора можно сделать вывод о том, что наиболее релевантными для описания реалий бывшего СССР являются концепции, рассматривающие политическое развитие региона после 1991 г. как переход от одного типа авторитаризма к другому — от однопартийной коммунистической идеократии к гибридным и консолидированным авторитарным режимам (autocracy-to-autocracy transition). Понимая режимные трансформации как изменение базовых формальных и неформальных правил игры в политической системе, мы можем констатировать, что, с одной стороны, в постсоветский период эти базовые правила серьезно модифицировались по сравнению с теми, что существовали до перестройки. Для постсоветских режимов главными являются уже не идеологические, а электоральные механизмы легитимации власти, вместо мобилизационного типа политического участия они делают ставку на деполитизацию населения; на смену номенклатуре, занимавшейся распределением ресурсов, пришел новый тип элиты, сосредоточившей в своих руках одновременно власть и собственность, и т. д. Все это не позволяет рассматривать политические режимы в Центральной Евразии до и после 1991 г. как нечто сущностно единое (подобная точка зрения, которая анализировалась автором в параграфе под названием «Никакого перехода», точнее всего может быть выражена заголовком одной из недавних работ — «Управляя Россией. Авторитаризм от революции до Путина» [54]).

С другой стороны, новые правила игры нигде на постсоветском пространстве не стали подлинно демократическими (если подразумевать под таковыми институционализированный процесс смены элит через выборы, подконтрольность элит, разделение властей и верховенство закона). Это, в свою очередь, не дает нам возможности говорить о состоявшемся демократическом транзите. Более того, политическая

динамика в регионе не дает весомых поводов и для того, чтобы считать государства бывшего СССР хотя бы «переходными», т. е. находящимися *на пути* к демократии, как полагали многие транзитологи сразу после распада Советского Союза. В странах Центральной Азии (за исключением Киргизии) ситуация со свободой и демократией остается тяжелой с момента получения независимости, в Беларуси — со второй половины 1990-х годов, в ряде других постсоветских стран (вроде Азербайджана и России) она стабильно ухудшается с середины 2000-х. Конечно, есть постсоветские государства, в которых политический процесс отличается большей открытостью и неопределенностью (Молдова, Украина, Киргизия, Грузия, Армения) в силу более плюралистичной структуры политического класса, слабости самого государства или каких-то иных факторов, однако и здесь воспроизводится феномен патрональной политики, элиты коррумпированы, отчуждены от общества, их поведение носит ярко выраженный рентоориентированный характер. Такое положение вещей делает транзитологическую парадигму уязвимой для критики и заставляет исследователей все чаще приходиться к выводу о том, что эта концептуальная рамка «удручающе неадекватна» для анализа посткоммунизма [55, p. 5].

В самом конце логично было бы поставить вопрос о возможных направлениях дальнейшего изучения постсоветской политики. Если в 1990-е годы, в период доминирования транзитологических схем, политологов, специализировавшихся на постсоветском пространстве, больше всего интересовали предпосылки и факторы демократизации региона, препятствия для становления демократии в странах бывшего СССР и возможные условия ее консолидации, то теперь целесообразнее сместить исследовательскую оптику на изучение природы авторитаризма и его многочисленных разновидностей, на выявление факторов, как обеспечивающих устойчивость постсоветских автократий, так и создающих уязвимость этих режимов, на анализ закономерностей трансформации авторитаризмов в бывшем СССР (их консолидации / ослабления / эволюции из гибридов в закрытые автократии и наоборот). Здесь важно заметить следующее: транзитологическая парадигма часто заставляла смотреть на постсоветское пространство как на какое-то «гибкое место», где не работают закономерности, выявленные в других регионах мира; где, в отличие от Латинской Америки или Восточной Европы, с треском проваливаются все попытки демократизации. Парадигма авторитарных исследований, напротив, позволяет достаточно органично вписать изучение постсоветского пространства в более широкое поле сравнительной политологии. Ведь анализ постсоветской политики, с одной стороны, может значительно обогатить наши представления о том, как в принципе «работают» авторитаризмы, с другой — использование знаний, полученных путем изучения автократий за пределами постсоветской Евразии, позволит нам лучше понимать природу авторитаризмов в ближнем зарубежье.

Литература

1. Müller, K. (1992), 'Modernising' Eastern Europe: Theoretical Problems and Political Dilemmas, *European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie*, no. 1 (33), pp. 109–150.
2. Хэнсон, С. (2011), Эволюция постсоветских режимов, *Pro et Contra*, № 5, с. 105–120. (In Russian)
3. Baehr, P. (2017), Movement, Formation, and Maintenance in the Soviet Union: Victor Zaslavsky's Challenge to the Arendtian Theory of Totalitarianism, in Piffer, T. and Zubok, V. (eds), *Totalitarian Soci-*

- eties and Democratic Transition: Essays in Memory of Victor Zaslavsky*, Budapest, New York: CEU Press, pp. 19–52.
4. Geddes, B., Wright, J. and Frantz, E. (2014), Autocratic Breakdown and Regime Transitions: A New Data Set, *Perspectives on Politics*, no. 2 (12), pp. 313–331.
 5. Rustow, D. A. (1990), Democracy: A Global Revolution? *Foreign Affairs*, no. 4 (69), pp. 75–91.
 6. Fukuyama, F. (1989), The End of History?, *The National Interest*, no. 16, pp. 3–18.
 7. O'Donnell, G. and Schmitter, Ph. (eds) (1986), *Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.
 8. Huntington, S. (1993), *The Third Wave. Democratization in the Late 20th century*, Oklahoma: University of Oklahoma Press.
 9. Мельвиль, А. Ю. (1998), Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного подходов к демократическим переходам, *Полис*, № 2, с. 6–38.
 10. Макаренко, Б. И. (2002), Консолидация демократии: «детские болезни» постсоветских государств, *Полития*, № 4 (27), с. 4–18.
 11. Mandel, R. (2012), Transition to Where? Developing Post-Soviet Space, *Slavic Review*, no. 2 (71), pp. 223–233.
 12. Карозерс, Т. (2003), Конец парадигмы перехода, *Политическая наука*, № 2, с. 42–65.
 13. Капустин, Б. Г. (2001), Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении первого посткоммунистического десятилетия, *Полис*, № 4, с. 6–26.
 14. Ачкасов, В. А. (2015), Транзитология — научная теория или идеологический конструкт?, *Полис*, № 1, с. 30–37.
 15. Макаренко, Б. И. (2008), Посткоммунистические страны: некоторые итоги трансформации, *Полития*, № 3 (50), с. 105–124.
 16. Макаренко, Б. И. и Мельвиль, А. Ю. (2014), Как и почему «зависают» демократические переходы? Посткоммунистические уроки, *Политическая наука*, № 3, с. 9–39.
 17. Ambrosio, Th. (2008), Catching the 'Shanghai Spirit': How the Shanghai Cooperation Organization Promotes Authoritarian Norms in Central Asia, *Europe Asia Studies*, no. 8 (60), pp. 1321–1344.
 18. *Freedom in the World 2019 Map*. URL: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/map> (дата обращения: 12.09.2019).
 19. *The Retreat of Global Democracy Stopped in 2018*. URL: <https://www.economist.com/graphic-detail/2019/01/08/the-retreat-of-global-democracy-stopped-in-2018> (дата обращения: 12.09.2019).
 20. Шумпетер, Й. (2008), *Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия*, М.: Эксмо.
 21. Berend, I. and Bugarcic, B. (2015), Unfinished Europe: Transition from Communism to Democracy in Central and Eastern Europe, *Journal of Contemporary History*, no. 4 (50), pp. 768–785.
 22. Magyar, B. (2016), *Post-Communist Mafia State. The Case of Hungary*, Budapest: CEU University Press & Noran Libro.
 23. Diamond, L. (2015), Facing Up to the Democratic Recession, *Journal of Democracy*, no. 1 (26), pp. 141–142.
 24. Kagan, R. (2008), *The End of the End of History*, *The New Republic*, April 23. URL: <https://carnegieendowment.org/2008/04/23/end-of-end-of-history-pub-20030> (дата обращения: 12.10.2019).
 25. McFaul, M. (2002), The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship. Noncooperative Transitions in the Postcommunist World, *World Politics*, no. 54, pp. 212–244.
 26. Kubicek, P. (2000), Post-communist Political Studies: Ten Years Later, Twenty Years Behind?, *Communist and Post-Communist Studies*, no. 33, pp. 295–309.
 27. Aliyev, H. (2015), *Post-Communist Civil Society and the Soviet Legacy. Challenges of Democratisation and Reform in the Caucasus*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 28. Дерлугьян, Г. (2000), Крушение советской системы и его потенциальные следствия: банкротство, сегментация, вырождение, *Полис*, № 3, с. 18–30.
 29. Гудков, Л. и Дубин, Б. (2007), *Посттоталитарный синдром: «управляемая демократия» и апатия масс, Пути российского посткоммунизма: очерки*, ред. Липман, М. и Рябов, А., М.: Изд-во Р. Эллинина.
 30. Hale, H. (2015), *Patronal Politics. Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective*, New York: Cambridge University Press.
 31. Мельников, К. В. (2018), Неопатримониализм: классификация как способ преодоления концептуальных натяжек, *Полис*, № 2, с. 68–81.
 32. Фисун, А. (2007), Постсоветские неопатримониальные режимы: генезис, особенности, типология, *Отечественные записки*, № 6, с. 8–28.

33. Шкель, С. Н. (2016), Неопатримониальные практики и устойчивость авторитарных режимов в Евразии, *Полития*, № 4 (83), с. 94–107.
34. Lewis, D. (2015), “Illiberal Spaces.” Uzbekistan’s Extraterritorial Security Practices and the Spatial Politics of Contemporary Authoritarianism, *Nationalities Papers*, no. 1 (43), pp. 140–159.
35. Aliyev, H. (2015), Post-Soviet Informality: Towards Theory-Building, *International Journal of Sociology and Social Policy*, no. 3–4 (35), pp. 182–198.
36. Polese, A. et al. (eds) (2018), *Post-Socialist Informalities. Power, Agency and the Construction of Extra-Legalities from Bosnia to China*, New York: Routledge.
37. Aliyev, H. (2014), The Effects of the Saakashvili Era Reforms on Informal Practices in the Republic of Georgia, *Studies of Transition States and Societies*, no. 1 (6), pp. 19–33.
38. Бердяев, Н. А. (2016), *Истоки и смысл русского коммунизма*, СПб.: Азбука.
39. Geddes, B., Wright, J. and Frantz, E. (2018), *How Dictatorships Work. Power, Personalization, and Collapse*, Cambridge, New York: Cambridge University Press.
40. Рогов, К. (2019), Сценарии недемократического трансфера власти и институциональные траектории постсоветских стран, *Царь горы: недемократический трансфер власти на постсоветском пространстве*, ред. Рогов, К., М.: Либеральная миссия, с. 34–42.
41. Levitsky, S. and Way, L. (2002), The Rise of Competitive Authoritarianism, *Journal of Democracy*, no. 2 (13), pp. 51–65.
42. Schedler, A. (ed.) (2006), *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*, Boulder: Lynne Rienner Publishers.
43. Olcott, M. B. and Ottoway, M. (1999), Challenge of Semi-authoritarianism, *Carnegie Endowment for International Peace*, January 1. URL: <https://carnegieendowment.org/1999/10/01/challenge-of-semi-authoritarianism-pub-142> (дата обращения: 09.01.2020).
44. Карл, Т. Л. и Шмиттер, Ф. (2004), Демократизация: концепты, постулаты, гипотезы, *Полис*, № 4, с. 6–27.
45. Diamond, L. (2002), Thinking about Hybrid Regimes, *Journal of Democracy*, no. 2 (13), pp. 21–35.
46. Brownlee, J. (2009), Portents of Pluralism: How Hybrid Regimes Affect Democratic Transitions, *American Journal of Political Science*, no. 3 (53), pp. 515–532.
47. Armony, A., Schamis, H. (2005), Babel in Democratization Studies, *Journal of Democracy*, no. 4 (16), pp. 113–128.
48. Линц, Х. (2018), Тоталитарные и авторитарные режимы, *Неприкосновенный запас*, № 4. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2018/4/totalitarnye-i-avtoritarnye-rezhimy.html> (дата обращения: 12.10.2019).
49. Лапин, В. С. (2017), Соревновательный авторитарный режим: тактика оппозиционных акторов, *Сравнительная политика*, т. 8, № 3, с. 120–130.
50. Way, L. (2015), *Pluralism by default. Weak Autocrats and the Rise of Competitive Politics*, Baltimore: John Hopkins University Press.
51. Way, L. (2005), Authoritarian State Building and the Sources of Regime Competitiveness in the Fourth Wave: The Cases of Belarus, Moldova, Russia, and Ukraine, *World Politics*, no. 2 (57), pp. 231–261.
52. Гельман, В. Я. (2012), Расцвет и упадок электорального авторитаризма в России, *Полития*, № 4, с. 65–88.
53. Kaya, R. and Bernhard, M. (2013), Are Elections Mechanisms of Authoritarian Stability or Democratization? Evidence from Postcommunist Eurasia, *Perspectives on Politics*, no. 3 (11), pp. 734–752.
54. Zimmerman, W. (2014), *Ruling Russia. Authoritarianism from the Revolution to Putin*, Princeton, Oxford: Princeton University Press.
55. Hale, H. (2019), Freeing Post-Soviet Regimes from the Procrustean Bed of Democracy Theory, in Magyar, B. (ed.), *Stubborn Structures. Reconceptualizing Post-Communist Regimes*, Budapest, New York: CEU Press, pp. 5–20.

Статья поступила в редакцию 14 апреля 2020 года
Статья рекомендована к печати 15 июня 2020 года

Контактная информация:

Летняков Денис Эдуардович — канд. полит. наук, ст. науч. сотр.; letnyakov@mail.ru

Conceptualization of post-Soviet regime changes: Some intermediate results

D. E. Letnyakov

RAS Institute of Philosophy,
12/1, Goncharnaya ul., Moscow, 109240, Russian Federation

For citation: Letnyakov D. E. Conceptualization of post-Soviet regime changes: Some intermediate results. *Vestnik of Saint Petersburg University. International Relations*, 2020, vol. 13, issue 3, pp. 374–393. <https://doi.org/10.21638/spbu06.2020.306> (In Russian)

The aim of the article is to analyze the attempts to conceptualize post-Soviet regime changes that have been undertaken over the past thirty years. For convenience, all concepts are grouped around three main approaches. The first one examines regime transformations in the former USSR from the point of view of a possible transition to democracy (transition paradigm); the second approach emphasizes the continuity between the post-Soviet political regimes and previous ones, overlooking fundamental differences between them; the third approach assumes that the post-Soviet transition did take place, however, it was “autocracy-to-autocracy transition” (from one-party communist dictatorship to hybrid regimes or consolidated personalistic autocracies). The author considers regime change as transformation of some basic formal and informal rules of the game that determine the functioning of a given political system (from the way of making key decisions and allocating resources to the main channels for recruiting to the elite). As a result, the author proves that the third approach is the most relevant for understanding post-Soviet politics. Inter alia, its advantage is that it allows us to fit post-Soviet studies into the wider field of comparative political science: the analysis of post-Soviet politics, on the one hand, can significantly enrich our ideas about “how dictatorships work” at large, on the other hand, empirical knowledge about autocracies outside post-Soviet Eurasia and theories built on this basis will help us to understand the nature of authoritarianism in Russia’s “near abroad”.

Keywords: former USSR, democracy, new authoritarianism, transitology, hybrid regimes, regime changes.

References

1. Müller, K. (1992), ‘Modernising’ Eastern Europe: Theoretical Problems and Political Dilemmas, *European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie*, no. 1 (33), pp. 109–150.
2. Hjnson, S. (2011), The evolution of post-Soviet Regimes, *Pro et Contra*, no. 5, pp. 105–120. (In Russian)
3. Baehr, P. (2017), Movement, Formation, and Maintenance in the Soviet Union: Victor Zaslavsky’s Challenge to the Arendtian Theory of Totalitarianism, in Piffer, T. and Zubok, V. (eds), *Totalitarian Societies and Democratic Transition: Essays in Memory of Victor Zaslavsky*, Budapest, New York: CEU Press, pp. 19–52.
4. Geddes, B., Wright, J. and Frantz, E. (2014), Autocratic Breakdown and Regime Transitions: A New Data Set, *Perspectives on Politics*, no. 2 (12), pp. 313–331.
5. Rustow, D. A. (1990), Democracy: A Global Revolution?, *Foreign Affairs*, no. 4 (69), pp. 75–91.
6. Fukuyama, F. (1989), The End of History?, *The National Interest*, no. 16, pp. 3–18.
7. O’Donnell, G. and Schmitter, Ph. (eds) (1986), *Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.
8. Huntington, S. (1993), *The Third Wave. Democratization in the Late 20th century*, Oklahoma: University of Oklahoma Press.
9. Mel’vil’, A. Ju. (1998), The experience of theoretical and methodological synthesis of structural and procedural approaches to democratic transitions, *Polis*, no. 2, pp. 6–38. (In Russian)
10. Makarenko, B. I. (2002), Consolidation of Democracy: “Childhood Diseases” of Post-Soviet States, *Politiia*, vol. 27, no. 4, pp. 4–18. (In Russian)

11. Mandel, R. (2012), Transition to Where? Developing Post-Soviet Space, *Slavic Review*, no. 2 (71), pp. 223–233.
12. Karozers, T. (2003), The End of The Transition Paradigm, *Politicheskaja nauka*, no. 2, pp. 42–65. (In Russian)
13. Kapustin, B. G. (2001), The end of “transitology”? On the theoretical interpretation of the first post-communist decade, *Polis*, no. 4, pp. 6–26. (In Russian)
14. Achkasov, V. A. (2015), Transitology — Scientific Theory or Ideological Construct? *Polis*, no. 1, pp. 30–37. (In Russian)
15. Makarenko, B. I. (2008), Postcommunist states: some results of transformation, *Politiia*, vol. 50, no. 3, pp. 105–124. (In Russian)
16. Makarenko, B. I. and Mel’vil’, A. Ju. (2014), How and why are democratic transit freezes up? Postcommunist lessons, *Politicheskaja nauka*, no. 3, pp. 9–39. (In Russian)
17. Ambrosio, Th. (2008), Catching the ‘Shanghai Spirit’: How the Shanghai Cooperation Organization Promotes Authoritarian Norms in Central Asia, *Europe Asia Studies*, no. 8 (60), pp. 1321–1344.
18. *Freedom in the World 2019 Map*. Available at: <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/map> (accessed: 12.09.2019).
19. *The Retreat of Global Democracy Stopped in 2018*. Available at: <https://www.economist.com/graphic-detail/2019/01/08/the-retreat-of-global-democracy-stopped-in-2018> (accessed: 12.09.2019).
20. Shumpeter, J. (2008), *The Theory of Economic Development. Capitalism, Socialism and Democracy*, Moscow: Eksmo Publ. (In Russian)
21. Berend, I. and Bugarcic, B. (2015), Unfinished Europe: Transition from Communism to Democracy in Central and Eastern Europe, *Journal of Contemporary History*, no. 4 (50), pp. 768–785.
22. Magyar, B. (2016), *Post-Communist Mafia State. The Case of Hungary*, Budapest: CEU University Press & Noran Libro.
23. Diamond, L. (2015), Facing Up to the Democratic Recession, *Journal of Democracy*, no. 1 (26), pp. 141–142.
24. Kagan, R. (2008), The End of the End of History, *The New Republic*, April 23. Available at: <https://carnegieendowment.org/2008/04/23/end-of-end-of-history-pub-20030> (accessed: 12.10.2019).
25. McFaul, M. (2002), The Fourth Wave of Democracy and Dictatorship. Noncooperative Transitions in the Postcommunist World, *World Politics*, no. 54, pp. 212–244.
26. Kubicek, P. (2000), Post-communist Political Studies: Ten Years Later, Twenty Years Behind?, *Communist and Post-Communist Studies*, no. 33, pp. 295–309.
27. Aliyev, H. (2015), *Post-Communist Civil Society and the Soviet Legacy. Challenges of Democratisation and Reform in the Caucasus*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
28. Derlug’jan, G. (2000), The collapse of the Soviet system and its potential consequences: bankruptcy, segmentation, degeneration, *Polis*, no. 3, pp. 18–30. (In Russian)
29. Gudkov, L. and Dubin, B. (2007), Post-totalitarian syndrome: “managed democracy” and mass apathy, in Lipman, M. and Ryabov, A. (eds), *Pathways of Russian Communism: Essays*, Moscow: Izdatelstvo Elinina Publ. (In Russian)
30. Hale, H. (2015), *Patronal Politics. Eurasian Regime Dynamics in Comparative Perspective*, New York: Cambridge University Press.
31. Mel’nikov, K. V. (2018), Neopatrimonialism: classification as a way to overcome conceptual stretching, *Polis*, no. 2, pp. 68–81. (In Russian)
32. Fisun, A. (2007), Post-Soviet neopatrimonial regimes: genesis, features, typology, *Otechestvennye zapiski*, no. 6, pp. 8–28. (In Russian)
33. Shkel’, S. N. (2016), Neopatrimonial practices in and resilience of authoritarian regimes in Eurasia, *Politiia*, vol. 83, no. 4, pp. 94–107. (In Russian)
34. Lewis, D. (2015), “Illiberal Spaces:” Uzbekistan’s Extraterritorial Security Practices and the Spatial Politics of Contemporary Authoritarianism, *Nationalities Papers*, no. 1 (43), pp. 140–159.
35. Aliyev, H. (2015), Post-Soviet Informality: Towards Theory-Building, *International Journal of Sociology and Social Policy*, no. 3–4 (35), pp. 182–198.
36. Polese, A. et al. (eds) (2018), *Post-Socialist Informalities. Power, Agency and the Construction of Extra-Legalities from Bosnia to China*, New York: Routledge.
37. Aliyev, H. (2014), The Effects of the Saakashvili Era Reforms on Informal Practices in the Republic of Georgia, *Studies of Transition States and Societies*, no. 1 (6), pp. 19–33.
38. Berdjajev, N. A. (2016), *The Origin and Meaning of Russian Communism*, St. Petersburg: Azbuka Publ. (In Russian)

39. Geddes, B., Wright, J. and Frantz, E. (2018), *How Dictatorships Work. Power, Personalization, and Collapse*, Cambridge, New York: Cambridge University Press.
40. Rogov, K. (2019), Scenarios of undemocratic transfer of power and institutional trajectories of post-Soviet countries, in Rogov, K. (ed.), *Tsar of the hill: undemocratic transfer of power in the post-Soviet space*, Moscow: Liberal'naiia missiia Publ. (In Russian)
41. Levitsky, S. and Way, L. (2002), The Rise of Competitive Authoritarianism, *Journal of Democracy*, no. 2 (13), pp. 51–65.
42. Schedler, A. (ed.) (2006), *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition*, Boulder: Lynne Rienner Publishers.
43. Olcott, M. B. and Ottoway, M. (1999), Challenge of Semi-authoritarianism, *Carnegie Endowment for International Peace*, January 01. Available at: <https://carnegieendowment.org/1999/10/01/challenge-of-semi-authoritarianism-pub-142> (accessed: 09.01.2020).
44. Karl, T. L. and Shmitter, F. (2004), Democratization: concepts, postulates, hypotheses, *Polis*, no. 4, pp. 6–27. (In Russian)
45. Diamond, L. (2002), Thinking about Hybrid Regimes, *Journal of Democracy*, no. 2 (13), pp. 21–35.
46. Brownlee, J. (2009), Portents of Pluralism: How Hybrid Regimes Affect Democratic Transitions, *American Journal of Political Science*, no. 3 (53), pp. 515–532.
47. Armony, A. and Schamis, H. (2005), Babel in Democratization Studies, *Journal of Democracy*, no. 4 (16), pp. 113–128.
48. Linc, H. (2018), Totalitarian and Authoritarian Regimes, *Neprikosnovennyi zapas*, no. 4. Available at: <https://magazines.gorky.media/nz/2018/4/totalitarnye-i-avtoritarnye-rezhimy.html> (accessed: 12.10.2019). (In Russian)
49. Lapin, V. S. (2017), Competitive authoritarian regime: tactics of opposition actors, *Sravnitel'naiia politika*, vol. 8, no. 3, pp. 120–130. (In Russian)
50. Way, L. (2015), *Pluralism by default. Weak Autocrats and the Rise of Competitive Politics*, Baltimore: John Hopkins University Press.
51. Way, L. (2005), Authoritarian State Building and the Sources of Regime Competitiveness in the Fourth Wave: The Cases of Belarus, Moldova, Russia, and Ukraine, *World Politics*, no. 2 (57), pp. 231–261.
52. Gel'man, V. Ja. (2012), The Rise and Fall of Electoral Authoritarianism in Russia, *Politiia*, no. 4, pp. 65–88. (In Russian)
53. Kaya, R. and Bernhard, M. (2013), Are Elections Mechanisms of Authoritarian Stability or Democratization? Evidence from Postcommunist Eurasia, *Perspectives on Politics*, no. 3 (11), pp. 734–752.
54. Zimmerman, W. (2014), *Ruling Russia. Authoritarianism from the Revolution to Putin*, Princeton, Oxford: Princeton University Press.
55. Hale, H. (2019), Freeing Post-Soviet Regimes from the Procrustean Bed of Democracy Theory, in Magyar, B. (ed.), *Stubborn Structures. Reconceptualizing Post-Communist Regimes*, Budapest, New York: CEU Press, pp. 5–20.

Received: April 14, 2020

Accepted: June 15, 2020

Author's information:

Denis E. Letnyakov — PhD in Political Sciences, Senior Research Fellow; letnyakov@mail.ru